

ARTYKUŁY RECENZYJNE i RECENZJE

Mariusz Wołos. Francja – ZSRR. Stosunki polityczne w latach 1924-1932. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2004. 674 s.

Размышления над современным состоянием историографии международных отношений в Европе между двумя мировыми войнами вызывает противоречивые чувства. Труды нескольких поколений историков привели к накоплению массива ценной информации и важным обобщениям. Тем не менее, нередко возникает ощущение, что следует начать все заново -- обратиться к сплошному изучению источников, без серьезной оглядки на выводы предшествующих работы, черпая из них материалы, но не слишком полагаясь на их выводы. Известно почти все, и очень немногое обосновано с достаточной надежностью и полнотой, позволяющей уверенно взбираться по лестнице исторической интерпретации. Дело, вероятно, в том, что кумулятивный характер исторического знания вступает в противоречие с системной природой международных отношений. Выпадение отдельных звеньев приводит к искажению всей перспективы, а его новая историческая реконструкция побуждает к переосмыслению целого комплекса вопросов, считавшихся ранее достаточно изученными.

Одним из таких звеньев до последнего времени оставались политические отношения СССР и Франции в середине 1920-х—начале 30-х гг. Сколь бы ни были по своему значительны исследования таких несходных авторов как Юрий Борисов, Francis Conte, Michael J. Carley и Georges-Henri Soutou, лишь с появлением книги Mariusza Wołosa перед нашими глазами открывается широкая панорама политических контактов между двумя крайними полюсами международной системы Париж – Берлин – Варшава – Москва. Автор с большой тщательностью обследовал французскую документацию (Archives du Ministère des Affaires étrangères, Service historique de l'armée de Terre и другие архивы), советские материалы (Российский государственный архив социально-политической истории, Архив внешней политики МИД, Российский государственный военный архив) и польские источники, депонированные в Варшаве, Москве и Stanford'e. С долей доброй зависти можно констатировать, что историк сумел оказаться «в нужное время в нужном месте»: некоторые из использованных им архивных фондов Российского государственного военного архива (Секретариат Председателя Реввоенсовета, Deuxième Bureau d'État-Major Général и др.) в последние годы, по различным причинам, вновь оказались закрыты для непривилегированных исследователей. Компетентностью и широтой отмечен и подбор документальных публикаций и современной литературы.

В силу этих профессиональных достоинств книга Mariusza Wołosa заслуживает обсуждения с различных точек зрения. Наряду с рассмотрением узловых сюжетов книги, имеет поэтому смысл затронуть проблемы жанра дипломатической истории, а также попытаться оценить перспективы исследования советской внешней политики в свете рецензируемого труда.

* * * * *

Точкой отсчета для повествования Mariusz Wołos избрал канун 1924 года, ставшего для Советской России годом признания *de jure* со стороны держав—победительниц в мировой войне. Своеобразное соревнование между ними за выгоды, которые сулила Москва странам, раньше других установивших с нею дипломатические отношения, по существу предопределило необходимость для французов принять «английскую формулу», т. е. официальное признание без всяких предварительных условий СССР. Это, впрочем, вполне соответствовало линии нового правительства, которое возглавил Édouard Herriot (s.40-41). Официальное признание СССР в МИД Франции были склонны рассматривать как первый

шаг к достижению долгосрочной задачи восстановления политического и экономического влияния Франции и, в более широком смысле, интеграции Советской России в Европу (s. 41, 49). Автор показывает, что эти широкие концепции (которые в последующем получили поддержку Aristide'a Brianda) были далеки от непосредственных забот кабинета Herriot'a. Вместе с тем, как это ни парадоксально, они были созвучны политическим настроениям наркома иностранных дел Георгия Чичерина. Он ясно выразил свои политические предпочтения он ясно выразил, поддерживая линию сенатора Anatole de Monzie ("system kontynentalny") в противовес "mieszanskiej germanofobii Herriot'a" (s. 32). Задача «odtworzenia wpływów francuskich w ZSRR» представлялась тем более достижимой, что, как небезосновательно отмечал опытный дипломат de Martel, что между двумя странами не существовала "ani gwaltizacja polityczna, ani konkurencja ekonomiczna" (cytat autora, s. 48).

В действительности политические взаимоотношения Франции и СССР вплоть до начала 30-х гг. оказались замкнуты на попытках урегулирования спорных вопросов -- о российских долгах французским держателям займов, о судьбе «врангелевского флота», о деятельности российской и грузинской эмиграции, коммунистической пропаганде во Франции и ее колониях. Позитивные начинания ограничивались дискуссиями о французских кредитах для финансирования советских промышленных заказов, что, однако, предполагало одновременное разрешение долгового спора. Международная политическая проблематика, в первую очередь отношения СССР с союзниками Франции на востоке, оказалась оттеснена на задний план.

Рассмотрение попыток урегулирования двусторонних спорных вопросов в декабре 1924 – октябре 1925 г. образует второй раздел книги Mariusza Wołosa. Предложенное автором хронологическое разграничение весьма удачно и позволяет рассматривать двусторонние отношения на фоне переговоров о западном пакте безопасности; указанный период также совпадает с пребыванием на посту полпреда во Франции наркома внешней торговли Леонида Красина. Своеобразный баланс этому десятимесячному периоду подвела Rada Komisarzy Ludowych, которая (согласно французским сведениям) констатировала, что посольству во Франции не удалось урегулировать prawie żadnej sprawy (s. 230). Однако именно тогда, в беседах Чичерина и посла Jean'a Herbette'go середины 1925 г., впервые наметилась пути политического урегулирования между Францией и СССР, ключевое значение для которого должно было иметь о соглашении о мирных взаимоотношениях между СССР и Польшей (s. 218-219).

Оживление советско-французских политических контактов после пакта Локарно (в частности, визиты Чичерина в Париж в 1925 и 1927 гг.) и связанные с этим перипетии составляют содержание третьего раздела "Misja Ambasadora Rakowskiego (październik 1925 – październik 1927)". Наркомат иностранных дел готовился к широкому обсуждению, имея в виду заключение не только пакта о ненападении, но и, эвентуально, договор о дружбе и нейтралитете (s. 255). В феврале 1926 г. в Париже открылись заседания франко-советской конференции, однако уже po niespełna dwóch miesiącach od rozpoczęcia negocjacji ее работа "stała w martwym punkcie", причем обсуждение в политической комиссии вообще не начиналось (s. 273-274). Возобновление франко-румынского союза и заключение договора о нейтралитете между СССР и Германией поставили в порядок дня вопрос о тройственном договоре ненападения между СССР, Францией и Польшей, однако не слишком настойчивые попытки Москвы приступить к обсуждению этой темы были встречены Парижем индифферентно. Генеральный секретарь МИД Philippe Berthelot uznał za godny uwagi "temat do dalszych rozmów" лишь одну часть предложений Чичерина – о закреплении в договоре nienaruszalności wchodnich granic Polski (s. 285). Для Москвы такое определение повестки переговоров было равносильно односторонней уступке.

Основная тенденция французской политики состояла, как отмечает автор вслед за Georges-Henri Soutou¹, в урегулировании франко-немецких противоречий и достижении

¹ Автор, к сожалению, не использовал ценного исследования о франко-германских переговорах относительно совместных кредитов СССР: Michael Jabara Carley and Richard Kent Debo, *Always in Need of Credit: The USSR*

«континентального соглашения» между Францией, Германией и СССР. Содержание этого договора виделось Бриану прежде всего в согласовании взаимных экономических интересов и поощрении торговли СССР с Францией и Германией. Предложения на этот счет в июле 1926 г. были переданы *полпреду* Христиану Раковскому. Он отнесся к ним со скептицизмом. Реакция руководства НКВД также свидетельствует, что “Moskwa nie chciała podejmować zaproponowanej przez szefa francuskiej dyplomacji gry i nie zamierzała zmieniać swojej linii politycznej wobec Paryża” (s. 293). Очевидно, советские деятели боялись оказаться перед лицом франко-германского «фронта» и предпочитали вести дела с Берлином и Парижем по отдельности (см. s. 398-399).

Переговоры о долгах и предоставлении кредитов, несмотря на существенное сближение позиций двух делегаций к осени 1927 г., не привели к перелому в политических взаимоотношениях. Скорее наоборот, соглашается автор с заместителем наркома Максимом Литвиновым, разрешение экономических проблем зависело от налаживания взаимопонимания в политической сфере (s. 322). Позиция Briand’a была прямо противоположной (s. 338, 400). Весной 1927 г., под влиянием разрыва англо-советских отношений и поражения в Китае, в Москве нарастала тревога по поводу своей растущей изоляции и усиливалась заинтересованность в урегулировании отношений с Францией. Иначе дело обстояло во Франции. Обострение борьбы в большевистской партии, побудившее Раковского в августе 1927 г. поставить свою подпись под декларацией верности революционным принципам, было использовано правыми политическими кругами для антисоветской кампании и требования об отзывании советского посла. По оценке автора, “w ostatniej fazie sporu wokół ambasadora władze w Moskwie stosunkowo łatwo ustąpiły wobec żądań francuskich” (s. 377).

Наступивший затем период франко-российских отношений автор определяет как “Kryzys” (раздел IV). Речь идет о периоде продолжительностью более трех лет (октябрь 1927 март 1931). Поэтому приходится думать, что автор использует это понятие «кризис» скорее как синоним упадка, чем в изначальном смысле термина – как обозначение переломного момента. В 1928-1929 гг. контакты между двумя странами, несмотря на присоединение Советов к Парижскому договору (пакт Бриана-Келлога), находились в состоянии стагнации, тем более, что французская дипломатия попыталась лишить значения инициативу Москвы о досрочном введении этого пакта в действие в отношениях СССР и его западных соседей (s. 423-429). Правительство Poincaré’go настаивало: “naipierw rozwiązanie sprawy długów, a różniej pakt o nieagresji” (s.400-401). Дополнительную негативную краску политическим контактам придавал сверхкритицизм в отношении советских властей, который посол Jean Herbertte’a усвоил за время недолгого отпуска во Франции в середине 1927 г. (ср. s. 383-383 и s. 447). “Wahadło przesunęło się w drugą stronę”, -- замечает автор, констатируя, что “Herbette opierał swoje poglądy na stosunkowo prostych analizach” (s. 383). С этим трудно не согласиться (поэтому странно, что Mariuzs Wołos избрал эпиграфом к книге одну из заурядных антибольшевистских инвектив Jeana Herbertte’a 1929 года). Вместе с тем показательны миссия Иннокентия Халепского по ознакомления с военными производствами и лабораториями (весна 1928 г.) и готовность французских военных кругов рассматривать советские запросы о приобретении военного оборудования (s. 387).

“Дно” в отношениях Франции и Москвы было достигнуто осенью 1930 г., когда французский кабинет принял декрет об ограничении советского импорта, а советские власти организовали показательный процесс «Промпартии», на котором изобличались приготовления французского генштаба к нападению на СССР (в этом и состоял главный замысел процесса как орудия «национальной мобилизации»²). На этом фоне почти

and Franco-German Economic Cooperation, 1926-1929, French Historical Studies, Vol. 20, No. 3 (Summer 1997), pp. 315-356.

² Письмо Сталина Менжинскому, октябрь 1930 г., Лубянка. Сталин и ВЧК – ГПУ – ОГПУ – НКВД. Архив Сталина. Документы высших органов партийной и государственной власти. Январь 1922 – декабрь 1936 г. М.: МФД, 2003. С. 256-257.

сенсационен рассказ автора о беседе французского посла с наркомом Литвиновым в начале октября 1930 г. В ответ на вопрос Herbette'a, w jaki sposób należałoby rozprościć proces odrpżenia, Литвинов заявил о готовности Москвы заключить договоры о ненападении с Польшей, другими «лимитрофами» и Францией. Было бы próżno szukać упоминания об этом предложении в записи беседы, составленной самим наркомом (s. 452-453). Иными словами, Литвинов попросту скрыл от Политбюро сам факт несанкционированного выдвижения этих предложений. Очевидно, Литвинов рассчитывал на то, что реакция Парижа и Варшавы на его предложение поставит политическое руководство перед *fait accompli*. Рассмотренный эпизод, между прочим, заставляет критически отнестись к солидаризации автора с тем направлением историографии, согласно которому “rola Litwinowa *ipso facto* ograniczała się do sugerowania pewnych posunięć dyplomatycznych i referowania poszczególnych zagadnień”, a “kierowany przez niego... resort był jedynie narzędziem wykonawczym w rękach najwyższych władz partyjnych” (s. 487). Вероятно, именно такое, упрощенное видение политического процесса в Москве побудило Mariusza Wołos'a предположить, что заявление Литвинова в октябре 1930 г. являлось лишь попыткой предотвратить введение французам антидемпинговых мер против СССР (s. 454). Каковы бы ни были мотивы декрета французского кабинета (автор приводит данные о поразительном дисбалансе двусторонней торговли (s.456)), эта мера в конечном счете лишь повредила французам. Дипломатический конфликт, вызванный обвинениями Франции в подготовке интервенции, довел ситуацию до крайнего напряжения. Автор проникательно предполагает, что “strona radziecka celowo przeciągała strunę do granic wytrzymałości, chcąc tym samym postawić Francuzów przed alternatywą – albo zerwania stosunków, albo podjęcia rozmów” (s. 464, 469). Действительно, такая brutальная тактика была вполне в духе наркома Литвинова (сходные рекомендации он, в частности, выдвигал в конце 1923 г.)³.

Впрочем, не аналогичной ли тактики придерживалась и французская сторона? МИД Франции не реагировал на многочисленные и отчетливые сигналы Москвы о желательности отзыва Herbette'a (s. 446-447) и не желал выполнять требование Москвы об отозвании сотрудника посольства Kieffer'a, которого советские власти обвиняли в подрывной деятельности. Между тем, каковы бы ни были основания для такого требования, оно не нарушало дипломатических обычаев. “Plutôt rompre que ployer”⁴. С другой стороны, Berthelot заверил *полпреда* Довгалеvского, что представит министру Briand'у и премьеру Tardieu предложение начать обсуждение всего комплекса франко-советских отношений (s. 464). К картине замешательства в МИД Франции на рубеже 1930-1931 гг. стоит добавить свидетельство о том, что в январе 1931 г. Briand поручил Berthelot рассмотреть вместе с советским послом возможность заключения СССР договоров о ненападении с Францией, Польшей и Румынией⁵. Однако в разговоре с Довгалеvским 11 февраля генеральный секретарь МИД ограничился упоминанием о прежнем советском предложении относительно пакта ненападения и согласительной конвенции с Францией. При этом «Berthelot podkreślił, że jest to jego “osobista sugestia”, o której nie poinformował na razie Brianda» (s. 469).

Как бы там ни было, “tym samym Rosjanie otrzymali oczekiwany sygnał” (там же). О том, насколько назревшим был поворот в советско-французских отношениях свидетельствует то обстоятельство, что уже в середине марта в Москве и Париже активно обсуждались варианты соглашения (в НКВД – торгового договора, в МАЕ – пакта о ненападении) (s. 483, 496). Почти символическое посещение Berthelot'a больного Довгалеvского 20 апреля (s. 488-491) по существу открыло эпоху политического сближения Франции и СССР. Детальное изложение этих событий вскрывает заинтересованность обеих сторон, что побуждает усомниться в правильности вывода автора: «Warto podkreślić, że to właśnie Rosjanie byli inicjatorami zbliżenia s Francją n początku lat trzydziestych» (s. 624). Обсуждение договора о

³ См.: Michael Jabara Carley, *Episodes from the Early Cold War: Franco-Soviet Relations, 1917-1927*, Europe-Asia Studies, Vol. 52, No. 7 (2000), p. 1280.

⁴ Yves Denéchère, *Jean Herbette (1878-1960)*, Paris, PIE--Peter Lang, 2003, p. 179.

⁵ Note de la Direction politique, Paris, 28 mars 1935, DDF, I-re sér., t. X, doc. 59, p.76.

ненападении весной-летом 1931 г. отодвинуло на задний план дискуссии о российских долгах. Подробный анализ проектов договора позволяет Mariusz'u Wołos'у отметить несколько политико-юридических аспектов, важных для понимания советской политики межвоенного периода. Так, в договорах, заключенных СССР прежде (включая Берлинский договор 1926 г.), не фигурировала ясная норма об освобождении одной из сторон от обязательства ненападения в отношении другой стороны в случае, если она предпримет агрессивные действия против третьего государства. Предложенная французами формула на этот счет оказалась для Советов "zupewnym *novum*" (s. 504). Обсуждение этой проблемы, в которой приняла участие и польская дипломатия, побудило НКВД начать разработку самостоятельной концепции определения агрессии. Политбюро санкционировало это начинание и согласилось по существу принять французское предложение об условиях действия обязательств ненападения (s. 512). 10 августа советско-французский пакт был парафирован.

Как подтвердили дальнейшие события, заключение договора между СССР и Францией было невозможно вне разрешения более широкой проблемы нормализации политических отношений СССР с Польшей и соседними странами, что подразумевало фактическое изменение подхода Москвы к сохранению послевоенного статус-кво. Сопоставляя свидетельства о встрече Литвинова и Бриана в мае 1931 г. Mariusz Wołos приходит к выводу, что французский министр уклонился от заявления, что Париж ставит условием пакта СССР-Франция заключение "paktu politycznego" z Polską i Rumunią, "zdecydował się jednak wpisać go do sprawozdania sporządzonego *post factum*" (!) (s. 499-500). Тем самым Москва лишалась внешнего стимула к кардинальному пересмотру своей прежней позиции относительно условий заключения пактов ненападения с Польшей и другими соседними государствами. Не исключено, конечно, что Довгалецкий «mógł się spodziewać postawienia takiego warunku» (s. 532). Фактом, однако, остается, что Париж его перед Москвой не ставил, заодно скрывая от своей союзницы содержание парафированного договора (s. 522). (Впрочем, текста договора с СССР даже спустя полгода не знали и члены правительства Франции (s. 542).) В обстановке нагромождения двусмысленности и неясностей польская инициатива возобновления переговоров о ненападении вызвала настоящий кризис в наркомате иностранных дел, который был разрешен вмешательством Сталина в пользу открытия переговоров с поляками. Помощь генерального секретаря МИД Франции в организации советско-польских переговоров также была довольно двусмысленной (s. 535, 537) и поддерживала в Москве сомнения co do szczerości polskich intencji (s. 539). В конечном счете, договор СССР и Францией, с подготовки которого начался процесс нормализации политических отношений Москвы с западными соседями, был подписан лишь после заключения аналогичных пактов между ними (если не считать так никогда и не заключенного пакта СССР и Румынии) – в ноябре 1932 г.

В целом, четвертый (завершающий) раздел работы Mariusz'a Wołos'a создает впечатление наиболее интересного и важного. Вероятно, это объясняется тем, что лишь в 1931-1932 гг. политические отношения СССР и Франции становятся достойными такого наименования и обретают внутреннюю позитивную динамику, тогда как прежде "zagadnienia *stricte* polityczne pozostawały się w cieniu problemów gospodarczych" (s. 627). На этом крутом повороте ясно обнаружилась слабость французской политики на востоке Европе (применительно к весне 1932 г. автор отмечает ее «dwubiegunowość, a może lepiej niespójność» (s. 557, см. также s. 567)). Одним из внешних показателей этой слабости можно считать заявление Юзефа Бека послу Laroche'у, что непримиримая позиция румынского правительства объясняется "przeświadczaniem, że to to Paryż nie życzy sobie układu z ZSRR" (s. 575). С другой стороны, показательна просьба Berthelot'a к новому послу в СССР Dejean'у высказать соображения на temat ewentualnych modyfikacji projektu paktu (s. 588). С этой инициативой генеральный секретарь МИД выступил спустя девять месяцев после того как он сам поставил свои инициалы под текстом согласованного с Довгалецким пактом. Невысоко же ставил он свою (пусть и сокращенную) подпись, если предлагал послу внести поправки

политического характера (уточнениями *au point de vue juridique* занимался компетентный сотрудник МИД *Basdevant* (s. 589-591)). В конечном счете “*stanowcze i twarde postulaty Dejeana*” (которым автор, кажется, симпатизирует) *nie zostały “w ogóle wzięte pod uwagę”*. Этот эпизод, *Mariusz Wołos* предлагает оценить как “*miernik wpływów Dejeana na Quai d’Orsay*” (s. 589). Может быть, следует интерпретировать *całą sprawę* и как отражение глубокого разлада во французской политике.

На этом фоне становятся лучше понятны самостоятельность и решительность Варшавы в ходе переговоров конца 1931 -- 1932 г. Исследование *Mariusz’a Wołos’a* предоставляет новые убедительные аргументы в пользу вывода о том, что международные события в конце 1920-х — начале 30-х гг. “*z pewnością uświadomiły czynnikom polskim, że korzyści... jakie płynęły z francuskiego aliansu były zupełnie nie wystarczające w obliczu nowych napięć i zagrożeń*”⁶. Действия польской дипломатии на протяжении 30-х гг. в таком контексте предстают *funkcją międzynarodowej systemu*: ее развитие (или деградация) порождало необходимость принятия Варшавой дополнительной ответственности за положение в Восточной Европе. Этот вывод, не исключая критической оценки самодовольства и показной самоуверенности, которые не раз проявляли руководители польской дипломатии, помогает вскрыть объективные основания так называемой «польской мегаломании». Для польских исследователей такой подход не является совершенно новым, но значение его для западной историографии (не говоря уже о российской) чрезвычайно велико. Историкам, традиционно уделяющим преимущественное внимание к взаимоотношениям великих держав, трудно освободиться от пренебрежительной трактовки политики других государств⁷. Поэтому особенно ценно, когда объективный подход к пониманию внешней политики Польши как звена международной системы логически вытекает именно из тщательного исследования политических отношений ведущих государств -- Франции и СССР.

Изложение *Mariusza Wołos’a* позволяет также проследить как Москва, нехотя отказавшись строить свою политику на «крепком утесе наших взаимоотношений с Германией»⁸ и пустившись в обманчиво тихие воды центрально-европейской политики, обнаружила резервы укрепления своих международных позиций, которые она прежде скрывала от самой себя. Ирония состоит в том, что пока СССР сопротивлялся коллективным политическим переговорам с «лимитрофами», в Москве были основания чувствовать себя перед лицом «единого антисоветского фронта», вскоре после того, она была вынуждена уступить под нажимом Парижа и Варшавы и начать переговоры «по всему азимуту», обнаружились реальные противоречия интересов Франции и ее союзников *vis-à-vis* Советского Союза. Особенно знаменательным было решение Пилсудского не ставить заключение договора Польши с СССР в полную зависимость от результатов румынских усилий добиться от Москвы признания суверенитета Румынии над Бессарабией (s. 572-573, 575-576). Один из новых вариантов советской стратегии состоял в использовании франко-польских противоречий. “*Voilà l’Union soviétique qui prend dans la politique française la place de l’alliance polonaise*”, приветствовал своего французского коллегу полпред Антонов-Овсеенко⁹. Может быть, именно в этом следует искать одно из объяснений “*godną podziwu i niespotykaną ustepliwością Stalina i jego towarzyszy*” в августе 1932 г., когда перед Москвой встал вопрос о частичных модификациях пакта с Францией (s. 591). Во всяком случае, нельзя не испытать признательности к автору, который с большим прилежанием и мастерством раскрывает читателю перипетии запутанных многосторонних переговоров о ненападении в 1931-1932 гг.

⁶ Henryk Bułhak. *Polska – Francja: Z dziejów sojuszu 1922-1939. Cz. I (1922-1932)*, Warszawa: Historia pro Futuro, 1993, s. 280.

⁷ См., в частности: Michael J. Carley, *1939: The Alliance That Never Was and the Coming of World War II*, Chicago: Ivan R. Dee, 1999, p. 107 (имеется также французское (и готовится русское) издание этой важной монографии).

⁸ Записка наркома Литвинова секретарю ЦК ВКП(б) Кагановичу, 15 сентября 1931 г., Архив внешней политики РФ, ф. 010, оп. 4, папка 21, д. 63, л. 242.

⁹ Laroche à Paul-Boncour, Varsovie, 21 février 1933, DDF, I-re sér., t. II, doc. 329, p. 672.

Свое исследование Mariusz'a Wołos'a справедливо определяет как "studium z historii dyplomacji". Этот исторический жанр, традиционно связанный с осмыслением возникновения и упрочения национальных государств в Европе, давно оттеснен на периферию современной исторической мысли (как впрочем и традиционная политическая история)¹⁰. Исключение, по понятным причинам составляют страны Центральной и Восточной Европы, для которых история международной дипломатии и внешней политики тесно связана с выработкой общественной самоидентификации и с преодолением обременительных национально-государственных мифологем. Таким образом, в начале XXI века для исследователя дипломатии речь идет уже не только об историческом обосновании национальной государственности, прослеживании его судьбы, но и о соотношении своего предмета с широкой социальной проблематикой и даже о самостоятельных разноплановых генерализациях. В такой постановке вопроса есть внутреннее противоречие. Во-первых, дипломатическая история по своей природе занимается скрупулезным анализом единичного, уникального и нередко случайного. Во-вторых, она нацелена на анализ поведения элит и действий отдельных личностей, что исключительно трудно сочетать с долговременными процессами развития международной системы, тектоническими социальными сдвигами и логикой идеологий XX века. Тем не менее, если дипломатическая история хочет быть адекватной своему новому призванию, она должна принять вызов, кроющийся в этих противоречиях.

Mariusz Wołos склонен понимать свое призвание почти как "kronikarski obowiązek" (s. 237, см также s. 329). Действительно, повествование подчинено хронологии поступков, и выражения вроде «kwiecień przyniósł poważne zmiany» (s. 184), «druga połowa 1926 i początek 1927 r. to również okres, w którym...» (s. 329) не являются лишь данью традиционным речевым оборотам. За такой подход приходится платить отказом от вычленения *recurrent themes* -- повторяющихся мотивов, действий и ситуаций, которые образовывали некий логический стержень отношений Франции и СССР в европейской перспективе. Одной из таких тем, которые почти ускользают от внимания читателя, является акцентированная выше конкуренция восстановленной Польши и Советской России во французской политике. Рассказывая о размышлениях в МИД Франции в марте 1925 г., автор отмечает, что в подготовленной для премьера записке "uważano, że prowadzenie polityki prorosyjskiej – zagówno w chwili obecnej, jak i w przyszłości – będzie miało "aspect antipolski"" (s. 181). Этот мотив (унаследованный, разумеется, от XIX века и в период подготовки Версальского мира заново ставший актуальной темой межгосударственных отношений), к 1933-1934 гг. превратился в одну из центральных проблем европейской политики и оставался таковой вплоть до начала мировой войны. Вместе с тем, в последующих разделах и в заключении (s. 618) автор ее едва затрагивает. Это же в целом можно сказать и о трактовке тенденции «континентального соглашения» Франции, Германии и России (наметившейся еще во времена Сергея Витте и обретшей новые импульсы во второй половине 20-х и в середине 30-х гг.¹¹) или о настроениях Парижа относительно возвращения СССР "na łono Europy" (s. 228, 235 и др.). Исследование этих сюжетов важно как с точки зрения происхождения второй мировой войны, так и для углубленного понимания современной международной политики. Поэтому жаль, что Mariusz Wołos, досконально изучивший материалы 1920-начала 30-х гг. воздержался от комплексной оценки отмеченных им тенденций.

Ограничения, вытекающие из следования автора "kronikarskiemu obowiązkowi" можно заметить и в краткости международной экспозиции. Изложение открывается непосредственно рубежом 1923-1924 гг., оставляя за бортом опыт франко-советских

¹⁰ О некоторых глубинных причинах этого явления см.: Donald Cameron Watt, *Some Aspects of A. J. P. Taylor's Work as Diplomatic Historian*, *Journal of Modern History*, Vol. 49, No. 1 (March 1977), p. 19-22.

¹¹ Об антипольском характере этих замыслов свидетельствует, например, зондажная беседа наркома Литвинова с французским послом осенью 1934 г. (Прием Альфана 13 октября 1934 г., *Дневник Литвинова*, АВП РФ, ф. 05, оп. 14, п. 95, д. 4, л. 223-224).

отношений предшествующих лет. Автор редко выходит за рамки двусторонних отношений. Так, отмечая, что еще в долоккарнский период из дипломатической корреспонденции “*obu stron jasno wynika, że problem «limitrofów» nadal pozostawał niezwykle istotny dla kształtowania relacji pomiędzy Paryżem i Moskwą*” (s. 203), Mariusz Wołos воздерживается даже от краткого описания международных отношений на востоке Европы, которое бы позволяло представить себе, в чем эта проблема состояла. Не переоценивает ли автор познаний своих читателей? С другой стороны, если франко-советские контакты, особенно в 1925-1927 гг., представляли собой острую смесь самых различных вопросов, неизбежно ли смешение их в самом изложении, затрудняющие усилия читателя проследить эволюция советского подхода к ключевым проблемам, сконцентрированным вокруг пакта ненападения?

Эти трудности, думается, во многом объясняются тем, что автор скорее следует хронологии событий и текстам дипломатических документов, нежели подчиняет их своему рассуждению. Спору нет, весьма ценно, что Mariusz Wołos чуток к восприятию современников. Однако это восприятие имеет свои собственные внутренние закономерности (а не только ограничения, связанные с уровнем информированности). Характерна в этой связи интерпретация речи Молотова в марте 1931 г. Следуя за рапортами *chargé d'affaires* Adama Zieliezińskiego и военного атташе Jana Kowalewskiego, телеграммой Jean'a Herbertte'a do МАЕ, автор ограничивается констатацией жесткого тона главы правительства СССР (s. 472). Как показали события, эта стилистика в действительности лишь камуфлировала перемены в советской политике в отношении Франции. Пропагандистское рассуждение Молотова, как признает автор в другом месте, “*konczyło się deklaracją o gotowości Moskwy do podpisania*” *paktu o nieagresji* (s. 489). Думается, что в Париже эта декларация сразу же было оценена по достоинству, что и объясняет внезапное решение об отзыве Herbertte'a (ср. s. 471-472), пребывание которого в Москве давно стало бременем для франко-советских отношений (см s. 384). То обстоятельство, что в польской миссии не сумели разгадать основной смысл молотовского заявления вовсе не обязывает автора повторять эту ошибку, мешающую расшифровать политическое значение обоюдных жестов.

Диктат источников и хронологии несколько уменьшает объемность и глубину при рассмотрении автором «фоновой» проблемы отношений СССР и Франции – «рапалльских» взаимоотношений. Несколько десятилетий назад непредвзятое изучение обширного корпуса германских документов позволило Henry L. Dyck'у показать, что советско-германские отношения середины 20-х – начала 30-х гг. развивались от кризиса к кризису, причем фундаментальные проблемы по мере укрепления положения в Германии в Европе лишь обострялись¹². Исследования последних полутора десятилетий (в особенности, хорошо известные автору работы Александра Ахтамзяна и Сергея Горлова) показывают, что серьезные сомнения в выгодах такого сотрудничества посещали как советских военных, так и дипломатов. Характерно, что заявление Herbertte'a о неизменности “*ugodowej polityki*” Moskwy wobec Niemiec, вызвало у Литвинова смех (s. 277). Ясно, что французы были склонны драматизировать сообщения о сотрудничестве Красной армии и Рейхсвера (см. s. 386, 586), и поэтому следование за соответствующими документами, при скупости авторских комментариев, лишь сужает объективную оценку перспектив франко-советского сближения.

Аналогичным образом строится и характеристика столь ярких и влиятельных деятелей как первые полпреды СССР во Франции Леонид Красин и Христиан Раковский. Автор посвящает Красину лишь несколько строк в связи с его отзывом (s. 230-231) и несколько подробнее характеризует личность его преемника Раковского (s. 232-234), причем

¹² Henry L. Dyck. *Weimar Germany and Soviet Russia 1926-1933: A Study in Diplomatic Instability*. L., 1966. Попутно отметим другое историографическое упущение автора. Упомянув о знаменитой беседе Brockdorff-Rantzau z Chicherinem в декабре 1924 г. о возможном сотрудничестве в деле сведения Польши к «этнографическим границам», автор перечисляет несколько немецких исследований (s. 175-176), но не вспоминает о первой аналитической публикации соответствующих документов: Zygmunt Gasiorowski, *The Russian Overture to Germany of December 1924*, *Journal of Modern History*, vol. XXX, No. 2 (June 1958), p. 99-117.

изложение основано преимущественно на оценках французских дипломатов. Эти новые материалы существенны для историков и биографов, но вряд ли достаточно объективно объясняют, какое влияние эти блестящие и сложные люди оказали на развития отношений Москвы и Парижа. Разумеется, Раковский был „autentycznym frankofilem”, но также, по собственному признанию, «румынским коммунистом», который в 1923-1924 гг. использовал всю силу убеждения для того, чтобы советское руководство не склонилось к признанию суверенитета Румынии над Бессарабией и даже над Буковиной¹³. Нечего и говорить, что позиция, которую в итоге заняло советское Политбюро, тяжело сказывалась как на положении в Восточной Европе, так и на отношениях СССР с Францией, -- обстоятельства, которых не могли компенсировать ни теплые отношения Раковского с Anatole de Monzie, ни его контакты с социалистами (s. 237). Красин и Раковский, наряду, с Jean Herbertte'ом и Валерианом Довгалеvским (s. 379-380), оказываются едва ли не единственными героями книги, личные качества и взгляды которых Mariusz Wołos счел уместным специально осветить. Так, он совершенно не касается мотивов, побудившими перелезть через стену посольства на улице Гренель советника Беседовского, «który w październiku 1929 r. porzucił służbę dyplomatyczną i stał się informatorem strony francuskiej» (s. 436). Исследование соответствующих воззрений французских и советских деятелей было бы тем более необходимо, что, как явствует из книги Mariusza Wołosa, отношения между двумя странами были пронизаны идеологией, пропитаны сильными эмоциями, осложнены острыми личностными интерпретациями. В итоге создается впечатление, что дипломатические документы подчиняют себе авторскую волю, определяют в каком месте и что сказать, сдерживают более свободное и отстраненное рассуждение. Краткие итоговые обобщения (s. 625-626) недостаточно восполняют дефицит такого анализа.

Возможно, тенденцией подходить к рассматриваемым проблемам с позиций летописца объясняется и сдержанность историографической полемики на страницах обсуждаемой книги. Mariusz Wołos исправляет ряд неточностей и ошибок своих предшественников, включая столь выдающихся как William E. Scott, однако склонен воздерживаться от споров по крупным проблемам. Между тем, как отмечалось выше исследование Wołos'a дает ценный и обширный материал, в частности, относительно «la Décadence» французской политики и дипломатии в 1920-30-гг. За последние четверть века важные суждения по этому поводу, вслед за Jean-Baptiste Duroselle, высказали, в частности, Piotr Stefan Wandycz, Nicole Jordan and Michael J. Carley¹⁴, и явное формулирование автором своего взгляда на эту сложную проблему было бы как нельзя более кстати. В «Заключении» Mariusz Wołos отмечает, что в отношениях с СССР в 1924-1932 гг. Париж „zasadniczo zachowywał postawę lojalną wobec sojuszników z Europy Środkowej” и в целом позитивно оценивает поддержку французами „polityki solidarności „limitrofów” wobec ZSRR..., mając świadomość, iż jest to dobra droga do zwiększenia, a przynajmniej zachowania swoich wpływów w Europie Środkowej” (s.626). Эта интерпретация (независимо от того, насколько она соответствует изложенным в книге фактическим обстоятельствам) остается целиком в русле формально дипломатического подхода и хронологических рамок самой книги. В дополнение этой оценки (и, отчасти, в противовес ей) можно выдвинуть тезис о том, что неспособность французских политиков установить конструктивные политические отношения с СССР во второй половине 20-х гг., двусмысленное отношение Парижа к развитию польско-советского диалога привели к потере шанса на своевременное привлечение СССР к поддержке послевоенного статус-кво и подорвали основы французского влияния в Восточно-Центральной Европе. В 1932-1933 г. европейский кризис приобрел новую динамику, и наверстать упущенное было уже почти невозможно.

¹³ См.: «Нам нечего торопиться вынимать из румынской ноги бессарабскую занозу» (Переписка X. Раковского с М. Литвиновым), Источник. Документы русской истории, 2001, № 1, с. 46-62.

¹⁴ Краткий обзор интерпретаций французской политики см.: Robert F. Young, A.J.P. Taylor and the Problem with France, Gordon Martel (ed.), The Origins of the Second World War Reconsidered. Second Edition. A.J.P. Taylor and the Historians L. and N.Y.: Routledge, 1999. P. 84-85.

В общем, автор довольно жестко ограничил свою задачу и не стремится выйти за пределы традиционного дипломатического нарратива, предоставляя читателям и коллегам самостоятельно вписать его в общую картину жизни Европы между двумя мировыми войнами, отчетливо соотнести повествование Mariusza Wołosa с концепциями International Relations Theory и актуальными историографическими дискуссиями. Проблема, однако, состоит в том, что эти задачи, поскольку речь об оси Франция – СССР, вряд ли кто-либо может выполнить с той исторической компетентностью, которой продемонстрировал автор рецензируемого фундаментального труда.

* * * * *

Современные проблемы интерпретации международных отношений между двумя войнами тесно связаны с советским фактором. Без расшифровывания внешней политики СССР невозможно адекватно реконструировать общую картину и оценить поведение других участников европейской системы. Путь к такому удовлетворительному пониманию еще долог, и поэтому столь ценными представляются представленные Mariusz'em Wołos'ом материалы о советской политике, его оценки и наблюдения на этот счет.

Едва ли не наиболее острой является проблема соотношения перспективных целей и практических задач советской политики. Применительно к 20-м—началу 30-х гг. почти бесспорным представляется утверждение, что в большевистской Москве «w gruncie rzeczy zawsze na uwadze mieli dalekosiężny cel, jakim było wywołanie powstania rewolucyjnej». Однако *mieć na uwadze* вовсе не равносильно *неизменно руководствоваться* этим квази-религиозным видением в практической политике. Поэтому тезис автора, что “temu podporządkowali swoje działania wobec Francji, podobno zresztą jak i wobec innych państw o odmiennym ustroju” (с. 625) выглядит симметричным отражением советской пропаганды, твердившей о цельности и последовательности политики СССР, всегда руководствовавшейся марксистско-ленинским учением. С неменьшей иронией, можно, разумеется, отозваться и о тенденции трактовать политику Москвы исключительно как прагматичную защиту российских государственных интересов. Между этими крайними утверждениями заключена проблема.

Идеологическое кредо новой России и классические установки на поддержание баланса сил попытался совместить нарком Чичерин, поручая тогдашнему полпреду в Лондоне объяснять французским радикалам, “że ZSRR jako państwo proletariatu popiera kraje słabsze” (с. 32). Очевидно, что поддержка разбитой Германии и ее бывших союзников, к колониальным и полуколониальным странам поднимающейся Азии была связана с ожиданиями, что такая поддержка облегчит новые прорывы в этих «слабых звеньях цепи империализма» и, во всяком случае, содействовала подъему ревизионизма в Европе. Одновременно формула Чичерина была ориентирована на поддержание мирного статус-кво, предполагая, что “gdyby sami Francuzi stali się narodem słabszym w obliczu niemieckiego militarizmu to Związek Radziecki udzieli poparcia właśnie im”, причем с немалой выгодой для расширения своей территории за счет балтийских государств (там же). Вместе с тем, как подтверждает исследование Wołos'a, ориентация на слабые государства (даже с учетом того, что к ним причислялась Германия) явно противоречила, во-первых, потребности России в финансовой и технической помощи со стороны развитых стран и, во-вторых, способности Москвы, едва утвердившей свой контроль на пространстве империи, соперничать с ними за влияние в Азии, поддерживая революционные движения. Доступные свидетельства создают впечатление, что в 20-е гг. в этом и состояло главное противоречие между Георгием Чичериным и его заместителем «по Западу» Максимом Литвиновым. Такой интерпретации соответствует и описанные автором разногласия относительно тактики переговоров с Францией в конце 1925 г., когда Чичерин отказался последовать советам Литвинова о политическом соглашении с Парижем (с. 238, 240). Столь же характерны заигрывание Чичерина с антибританскими и «континентальными настроениями» (с. 221, 222-223, интерпретация автора – с. 228-229) и информация польского военного атташе о приоритетном значении, которые московские «хозяйственники» придают сближению СССР

с Англией (s. 110). При этом оба руководителя НКВД, как подтверждает их позиция в отношении сотрудников парижского полпредства Волина и Шляпникова, презрительно относились к попыткам развернуть революционную пропаганду в странах Запада (s. 188-189).

Очерченное выше проблемное поле советской внешней политики тесно соотносилось с дилеммами модернизации СССР, перед которыми оказались наследники Ленина. Курс на поддержку слабейшего предполагал полуавтаркическую стратегию тотального государственного насилия, ориентация на сближение с ведущими западными державами – «правый маневр во внутренней политике»¹⁵. В результате определение внешней политики Москвы осложнялось внутрипартийной борьбой или, по меньшей мере, оглядкой на использование внешнеполитических дискуссий в интересах борьбы за власть. Вероятно, в этом контексте следует оценить как эволюцию позиции СССР на переговорах с Францией в 1925-1927 гг., так и настойчивость Кремля в навязывании советской делегации нереальных условий соглашения о долгах и кредитах (с. 268).

Наряду с высокой степенью международной нестабильности эти обстоятельства обуславливали постоянные колебания, поиски новых вариантов и разногласия в руководстве НКВД и Политбюро относительно взаимоотношений СССР с внешним миром. Особое значение имело толкование правопреемства СССР по отношению к дореволюционной России, признания арбитража, участия Москвы в международных организациях.

Изменение статуса Советской России как государства-изгоя (*pariah-state*) и международную легализацию в качестве «нормального» государства подразумевало признание ею обязательств старой России. Первоначально Франция добивалась согласия Советского Союза взять на себя все финансовые обязательства дореволюционного государства (s. 240), однако затем вынуждено было признать, что предметом обсуждения должны являться лишь некоторые из прежних договоров между Францией и Россией (s. 274). С вопросом долгов была имплицитно связана проблема «лимитрофов». С одной стороны, в результате начатого по инициативе Москвы торга, стороны пришли к соглашению, что 25% должна была быть отнесена на счет новых государств, созданных на развалинах Империи (s. 214, 295). Не означало ли это косвенного признания за Польшей, Финляндией и малыми странами Балтии статуса со-наследников Российской империи? С другой стороны, заявление посла Раковского (в связи со спорами о Бессарабии), что Москва не намерена выступать в роли “rycerzi, którzy rozdają terytorium Związku Radzieckiego w prezencie obcym państwom” (s. 264), демонстрировало тенденцию Советов рассматривать всю территорию бывшей Империи как свои владения. Такой подход, разумеется, подпитывал и ревизионистские вождедения в отношении восточных земель Польши (s. 278). В итоге проблемы, связанные с правопреемством СССР от царской России, так и не получили ясного решения¹⁶. Советский Союз фактически отказался платить по старым долгам, а в мае 1939 г. открыто объявил о своих особых правах в отношении бывших территорий Империи (речь Молотова по проблеме Аландских островов). В этом смысле переговоры лета 1939 г. сводились для Москвы к выяснению того, кто согласится помочь ей в реализации программы реставрации царской империи – западные державы или Германия.

Аналогичную роль в середине 1920-х, когда определялись основы советской внешней политики, играла тема о порядке разрешения спорных вопросов между СССР и другими государствами. Вопрос о признании арбитражной процедуры имел колоссальное политико-правовое и психологическое значения. По сути, речь шла о том, откажутся ли большевистские руководители от характерного для них комплекса своего исторического превосходства над буржуазным миром (см. s. 625) и от его демонизации, трактовки внешнего мира как «капиталистического окружения». Опубликованные ранее документы

¹⁵ *Объединенный Пленум ЦК и ЦКК ВКП(б). 29 июля – 9 августа 1927. Стенографический отчет, вып. 1, РГАСПИ, ф. 17, оп. 2, д. 317, с. 49, 128.*

¹⁶ В 1996 г. правительство Виктора Черномырдина согласилось на выплаты французским держателям царских займов символических компенсаций и приступило к перечислению средств на государственные счета Франции.

показывают, что после Московской конференции 1922 г. СССР неизменно исключал для себя возможность международного арбитража и лишь в крайнем случае соглашался на суррогатный вариант процедуры урегулирования споров (заключение двусторонних согласительных конвенций). Mariusz Wołos приводит новое поразительное свидетельство: оказывается в январе 1926 г. руководители Наркоминдела решили “przedstawić na forum Politbiura zagadnienie układu arbitrażego z Francją” (s. 255). Хотя эта рекомендация не привела к позитивному решению, значимость этого сюжета для понимания внутренних пружин советской политики еще не раз привлечет к нему исследователей. Это в целом относится и к проблеме участия СССР в международных организациях, прежде всего Лиге Наций и Подготовительной комиссии Конференции по разоружению, чему Mariusz Wołos посвятил несколько ценных абзацев (s. 235-236, 249-250)¹⁷.

Приведенные наблюдения полемические замечания далеко не исчерпывают научного значения работы Mariusza Wołosa и ее вклада в изучение советской внешней политики и понимание советского феномена в контексте международных отношений.

* * * * *

В заключение хотелось бы выразить надежду на публикацию книги *Francja – ZSRR. Stosunki polityczne w latach 1924-1932* (возможно, в модифицированном виде) на русском языке. Русское издание оказало бы влияние на stan wiedzy широкого круга российских читателей и познакомило бы с материалами и выводами Mariusza Wołosa европейских и американских специалистов, многие из которых владеют русским языком. Наряду с этим, вовлечение рецензируемой книги в российский научный оборот явилось бы прекрасным примером и для российских историков международных отношений. Для сегодняшней российской историографии внешней политики СССР (и, тем более, европейской международной политики) характерно преобладание поверхностных, конъюнктурных или попросту тривиальных обобщений, порой сдобренных малой толикой архивных материалов¹⁸. Тщательность анализа и исследование широкого круга документов, продемонстрированные Mariusz’ем Wołos’ом, являются отличным противовесом для этой тенденции.

Олег Кен

¹⁷ В настоящее время известный историк Ирина Хормач (Институт всеобщей истории РАН) ведет работу над двухтомной монографией «СССР и Лига Наций».

¹⁸ В качестве примера можно указать на книгу Л.Н. Нежинского «В интересах народа или вопреки им? Советская международная политика в 1917-1933 годах» (Москва: Наука, 2004), тем более разочаровывающую, что написана она опытным и критически мыслящим историком (о чем можно судить и по публикациям советской поры).